



*В. П. Зинченко*

## ШЕПОТ РАНЬШЕ ГУБ ИЛИ ЧТО ПРЕДШЕСТВУЕТ ЭКСПЛОЗИИ ДЕТСКОГО ЯЗЫКА\*

*Владимир Петрович Зинченко в 1953 г. окончил МГУ (отделение психологии философского факультета). В 1966 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Восприятие и действие». Почетный член Американской академии искусств и наук (1988); действительный член РАО (1992). В настоящее время профессор факультета психологии ГУ-ВШЭ.*

*Автор свыше 400 научных работ, более 100 опубликовано зарубежом. Круг интересов и исследований: общая и экспериментальная психология, психология развития, теория и история психологии; гетерогенез слова, образа и действия; сознание и творчество.*

В статье рассматриваются положения В. Гумбольдта о внутренних формах языка и Г. Г. Шпета о внутренних формах слова. Далее, они распространяются на внутренние формы действия и образа. Показана гетерогенность слова, образа и действия и приводятся данные, свидетельствующие об их гетерогенезе в процессах возрастного и функционального развития. На первых стадиях развития ребенка слово рождается как внутренняя форма движения, действия и образа. Когда слово выступает вовне, оно в качестве своей внутренней формы несет действие и образ, в лоне которых оно первоначально зародилось и развивалось. Приведенные в статье данные подтверждают положение Г. Г. Шпета о том, что слово не «третий» после чувственности и рассудка, а единственный источник познания, объемлющий как *познавательное* целое все остальные.

**Ключевые слова:** принцип познания, слово, живое движение, действие, образ, внешняя и внутренняя формы, семенной логос, гетерогенез, душа, духовное развитие.

...но каждой Божьей твари  
как знак родства  
дарован голос для  
общенья, пенья:  
продления мгновенья,  
минуты, дня.

И. Бродский

### 1. Слово — *princip cognoscendi*

Мы все не столько знаем, сколько, не вдумываясь, верим или привыкли к тому, что Слово (язык) — это Бог, слово — это целый мир слово есть архетип

\* Статья написана в рамках Индивидуального исследовательского проекта №07-01-178 «Творческий акт и смысл в структуре сознания», выполненного при поддержке Научного фонда ГУ-ВШЭ.

культуры, слова — воплощение разума, слово — микрокосм сознания, слово — плоть (*а хлеб — веселье*). В. ф. Гумбольдт и Г. Г. Шпет, создавшие учение о внешних и внутренних формах языка и слова, открыли новые пути к пониманию подобных удивительных сентенций, ставших схематизмами человеческого сознания. Напомню наиболее яркие высказывания Гумбольдта, рассматривающего язык не как продукт деятельности (Ergon), а, как деятельность (Energeia): «Язык следует рассматривать не как мертвый продукт (Erzeugtes), но как созидающий процесс (Erzeugung)» [Гумбольдт 1984: 69]: «Каждый язык содержит в себе самобытное мировоззрение. Как отдельный звук встаёт между предметом и человеком, так и весь язык в целом выступает между человеком и природой, воздействующей на него изнутри и извне. Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспринять в себя и переработать мир вещей. Эти наши выражения никоим образом не выходят за пределы простой истины. Человек преимущественно — да даже и исключительно, поскольку ощущения и действия у него зависят от его представлений, — живет с предметами так, как их преподносит ему язык. Посредством того же самого акта, в силу которого он сплетает (herausspinn) язык внутри себя, он вплетает (einspinn) себя в него; и каждый язык описывает вокруг народа, которому он принадлежит, круг, откуда человеку дано выйти лишь постольку, поскольку он тут же вступает в круг другого языка» [Там же: 80]. Этот «круг» получал различные наименования: Globus intellectualis (Лейбниц), духосфера и пневмосфера (П. А. Флоренский), ноосфера (В. И. Вернадский), психосфера (В. А. Звягинцев), семиосфера (Ю. М. Лотман), когитосфера, интернет и т. п. Все перечисленные сферы свое наиболее полное выражение находят в материи языка, в слове. Посредством слова они и формируются. Сказанное относится не только к духовно-познавательным сферам деятельности, но и к духовно-практическим, например, к искусству, к техносфере.

Гумбольдт выражал живую убежденность в том, что «человеческое существо обладает предощущением какой-то сферы (возможно, сферы сознания — В.З.), которая выходит за пределы языка и которую язык, собственно, в какой-то мере ограничивает, но что всё-таки именно он — единственное средство проникнуть в эту сферу и сделать ее плодотворной для человека...» [Там же: 171]. Такое предощущение вполне оправдано, поскольку «Слово — универсально, как само сознание, и потому оно — выражение и объективация, реальный, а не только условно признанный репрезентант всего культурного духа человечества: человеческих воззрений, понимания, знания, замыслов, энтузиазмов, волнений, интересов и идеалов» [Шпет 2007: 165]. Любое специфическое определение слова включает его отношение к смыслу. Итак, слово (язык) — это, действительно, целый мир; оно больше, чем средство, медиатор, артефакт, знак, стимул, команда, сигнал и т. п. *Вся в слове истина дана*, как,

впрочем, и вся ложь. И при всем при том: *За поверхностью каждого слова таится бездонная мгла.*

Шпет, отталкиваясь от идей Гумбольдта и все глубже проникая во внутреннюю форму слова, пришел к заключению, что слово не «третий» после чувственности и рассудка, а единственный источник познания, объемлющий как *познавательное* целое остальные, т. е. рассматривал слово как начало и *princīpium cognoscendī*. Следовательно, и как начало, источник и принцип творчества, поскольку, по словам Шпета, в самом языке должно быть *свободное законодательство*, являющееся необходимым условием творческой деятельности. Поэты подтверждают сказанное ученым. О. Мандельштам:

Я свободе, как закону,  
Обручен, и потому  
Эту легкую корону  
Никогда я не сниму.

М. Цветаева:

Но птица я — и не пеняй,  
Что легкий мне закон положен.

Для обоих поэтов «легкость» оказалась иллюзией, но свобода давала им власть над словом, что само по себе большая редкость и требует огромного труда. Причина трудности в том, что число степеней свободы, которыми обладает слово, превышает число степеней свободы кинематических цепей человеческого тела. Преодоление или укрощение и тех и других — задача невероятной сложности.

Настоящая статья представляет собой попытку понимания сформулированного Шпетом принципа, на первый взгляд, противоречащего очевидной роли чувственности, образов, действий, аффектов в познании и творчестве. Для решения поставленной задачи мне придется сначала выйти за пределы проблематики внешней и внутренней формы слова в их гумбольдтовско-шпетовской трактовке и обратиться к этой обманчивой и провокативной очевидности.

Известно, что мир, который человек не только учится читать, но и действовать в нем, можно представить как гипертекст, написанный на множестве языков. В. Гёте утверждал: «Природа непрестанно говорит с нами и все-таки не выдает свои тайны». Все же некоторые из языков, на которых «говорит» природа, говорят нам подобные, тело и душа, в той или иной степени знакомы и доступны человеку. Он овладевает языками тела, движений, жестов (мимики, пантомимики, танца) ощущений и образов, аффектов, эмоций (если верить Андрею Платонову, его революционные герои мыслили исключительно нака-

лом своих воспаленных чувств). Добавим, иконические, знаковые, символические, вербальные языки. Говорят о метаязыках, языках глубинных семантических структур. Оставим любителям языки мозга и экстрасенсорные языки. Перечисленные языки могут нести перцептивные, предметные, операциональные, аффективные, вербальные и концептуальные значения и смыслы. Ситуация напоминает столпотворение языков в «правнучке вавилонской, в башне слов, все время недостроенной» (И. Бродский). И тем не менее человек создает картину, образ или образно-концептуальную модель мира, точнее, — множества миров (см. рис. 1). Предвосхищая дальнейшее, скажу, что это, видимо, происходит не хаотически, а посредством своего рода языкового пула, обволакивающего, обнимающего мир и проникающего внутрь него. Участники пула обеспечивают включение в такой образ всех мыслимых и немыслимых перцептив-

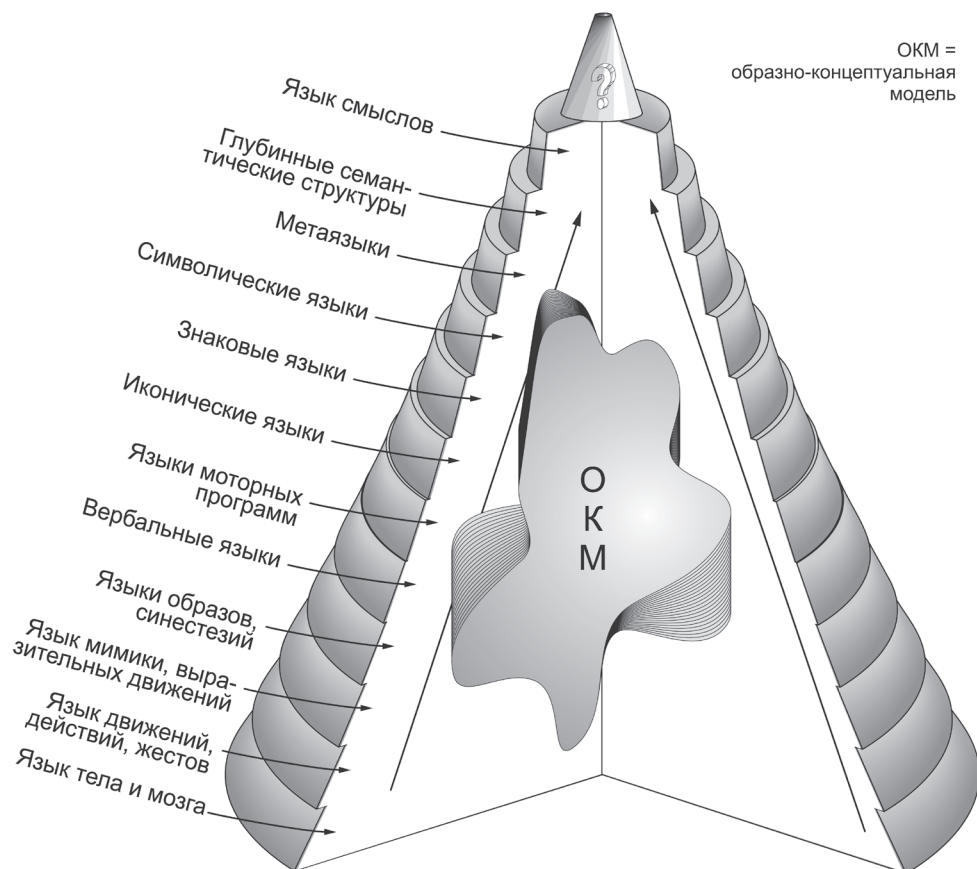


Рис. 1. Языки описания внешней и внутренней реальности

ных, операциональных, вербальных и прочих категорий. Так или иначе, человек эффективно использует в поведении, деятельности, мышлении, созерцании построенную им картину мира. Иное дело, насколько он ее осознает и способен ли явить образ мира в слове, в картине, в действии, в поступке, в схеме, в формуле и т. д.? Некоторым это удается, но даже в этом случае они не могут вразумительно рассказать, как они этого достигают. А. А. Ухтомский когда-то сказал, что люди сначала научаются ходить, а потом задумываются, как им это удалось. А если задумываются, то останавливаются! То же с мышлением и творчеством. Э. Клапаред в работе «Генезис гипотезы» заметил, что размышление стремится запретить речь. Видимо, для того, чтобы уступить место действиям со словом действиям с предметами, с образами, со знаками, символами, аффектами, наконец с самими же действиями. То есть уступить место другим языкам, выступающим в качестве средств не только коммуникации, но и интеллекта (в том числе у животных, и у детей до того как последние начали говорить). Казалось бы все очевидно, нужно дать дорогу невербальным или довербальным формам языка и интеллекта, например сенсомоторным схемам (в смысле Ж. Пиаже).

Но как же тогда быть со столь решительно сформулированным Г. Г. Шпетом положением о том, что именно слово есть *principium cognoscendi*? Чтобы понять это, упростим задачу и выберем из «вавилонского столпотворения языков» три: языки слов, действий и образов. Здесь нам понадобятся понятия внешней и внутренней формы не только применительно к слову, но также к действию и образу. Начнем со слова.

## **2. Гетерогенность внутренних форм слова, действия и образа**

Г. Г. Шпет, начиная с книги «Явление и смысл» (1914) и до конца своих дней развивал гумбольдтовское и собственное учение о внутренней форме слова, оказавшейся не менее сложной по сравнению с внешней. До сих пор остается загадкой, как ему это удалось. Видимо, помогли энциклопедизм и знание 17-ти (семнадцать!) языков, которые в его голове не вызывали столпотворения. Кажется даже, что Шпет видел язык (слово) изнутри (У Х. Ортеги-и-Гассета есть посвященная В. Гёте статья «Видение изнутри»). У него слово, действительно, выступало как плоть, а не как воздушное ничто.

В слове есть предметные, называемые Шпетом онтическими, формы. Предметный остов в структуре слова — не просто отражение, отпечаток существующей вещи или предметная отнесенность слова. Предметный остов — это задание, оно содержится в слове и должно быть реализовано, воплощено (ср. с более поздней трактовкой Дж. Остина: слово как *performativ*). Предметный остов, следовательно, активен, но он же является «реципиентом»: через слово ему сообщается смысл.

Далее Шпет характеризует внутренние формы слова в собственном смысле. Они вклиниваются между морфологическими и онтическими формами. Это логические, в высшей степени динамические формы, формы смыслового содержания, «целая толпа движущихся в разные стороны смыслов» (ср. с пучками смысла, торчащими из слов у О. Мандельштама), отыскивающих нужное русло. В слове присутствует своя онтологика, отличная от поверхностной формальной логики. Ж.-П. Вернан назвал бы ее логикой без логоса, а Дж. Брунер — имплицитной логикой. Внутренняя *конструктивная* форма делает слово *глаголом*, т. е. действием, даже демиургом. Итак: «Логические формы суть внутренние формы, как формы идеального смысла, выражаемого и сообщаемого; онтические формы суть чистые формы сущего и возможного содержания» [Шпет 2007: 224]. В свою очередь «содержание» предмета есть «внутреннее», прикрываемое его чистыми формами содержание, которое будучи внутренне-логически оформлено, и есть смысл. Включение Шпетом логических форм в состав слова отвечает пожеланиям О. Мандельштама, высказанным в 1913 г.: «Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы, только сознательный смысл, Логос, до сих пор ошибочно и произвольно считается содержанием, от этого ненужного почета Логос только проигрывает. Логос требует только равноправия с другими элементами слова... Для акмеистов сознательный смысл слова, Логос, такая же прекрасная форма, как музыка для символистов» [Мандельштам 1987: 168—169].

Не буду далее вдаваться в описание синтаксических и синтагматических внутренних форм слова. Имеется, например, игра логических форм и форм выражения (синтагм). Морфема, как звуковое образование может до известной степени, «как лава, затвердеть и сковать собою смысл, но он под ее поверхностью клокочет и сохраняет свой пламень» [Шпет 2007: 215]. Этот образ нам понадобится в дальнейшем.

Семасиологическое ядро слова покрыто слоями или одеждами, между которыми наблюдаются сложные взаимоотношения и взаимодействия. Остановимся на этом подробнее в связи с тем, что понятия «поверхностей», «одежд», «складок» играют важную роль в размышлениях о внешнем и внутреннем у М. Фуко, Ж. Делёза и др. представителей постмодернизма. Шпет в 1922 г. писал: «Если представить себе углубление от фонетической поверхности к семиотическому ядру слова как последовательное снятие облегающих это ядро слоев или одежек, то синтаксический слой облегает последующие причудливо вздымающимися складками, особенности которых, тем не менее, от последующего строения всей структуры не зависят и сами на нем не отражаются. Лишь взаимное отношение этого синтаксического слоя и ближайшего логического слоя дает сложный своеобразный рисунок, отражающий на себе особенности строения названных складок. Или, если весь процесс изображается как восхождение

по ступеням, то оказывается, что со ступени синтаксической нельзя просто перешагнуть на логическую, а приходится перебираться с одной на другую по особым, иногда причудливо переброшенным соединительным мостам. Между формами синтаксическими и логическими происходит, таким образом, как бы *задержка* движения мысли, иногда приятная, иногда затрудняющая продвижение (задержка понимания), но такая, на которую нельзя не обратить внимания» [Шпет 2007: 227]. Анализ Шпета тоньше, чем анализ Делёза, который понимал внутреннее как оформленное посредством «удвоения», т. е. «интериоризации внешнего». Само внутреннее как таковое, по Делёзу, «является просто складчатостью внешнего, как если бы корабль был изгибанием моря». Вместе с тем, возникающая на каждый момент времени конфигурация множества складок понимается Делёзом как принципиально не окончательная, — она оценивается как субъективная и подлежащая изменению: «эти складки удивительно изменчивы и, более того, обладают различными ритмами, чьи вариации создают не сводимые виды субъективации» (см. [Складка 2007: 577]). Таким образом, у Делёза внешнее и внутреннее разделено плоскостями, представляющими собой пространство их соприкосновения, сопряжения, отражения, взаимоналожения. В отличие от этого у Шпета, отказавшегося от натуралистически понимаемой дихотомии внешнего и внутреннего, между внешней и внутренней формами, имеются пространственные и временные зазоры и наводятся мосты для их взаимодействия в общей структуре целого.

Близким Шпету и Делезу был ход мыслей М. М. Бахтина, который не только культуре, но и человеку отказывал во внутренней суверенной территории: он весь и всегда на границе [Бахтин 2003: 259]. При этом Бахтин подчеркивал гибкость границ, что напоминает те же складки, о которых говорилось выше. Дж. Шоттер, развивая положение Л. С. Выготского о том, что все высшие психические функции являются интериоризированными отношениями социального порядка, и привлекая для этого положение Бахтина о диалогизме сознания, заключил: «“Внутренняя” жизнь человека не такая уж частная и не такая уж внутренняя и тем более не упорядоченная и логическая, как предполагалось» [Шоттер 1996: 115—116]. Идеи складок и мостов между ними, равно как и идеи постоянного пересечения границ и преодоления провалов между внешним и внутренним, конечно, весьма существенны. Но, на мой взгляд, еще более плодотворным является рассмотрение внешних и внутренних форм в структуре целого, предпринятое Шпетом. Следует обратить внимание на то, что внутренние формы слова, выявленные и детально описанные Шпетом, можно рассматривать как глубинные семантические структуры, постулированные в качестве *врожденных* Н. Хомским. Как станет ясно из дальнейшего — это слишком сильное утверждение.

Сделаю паузу в описании внутренних форм слова и перейду к языку действий. В начале 20-х гг. прошлого столетия будущий создатель физиологии активности (психологической физиологии) Н. А. Бернштейн (1896—1966) и занялся изучением *живого движения*. Серебряный век российской культуры, возможно, в предощущении своей близкой гибели проявлял повышенный интерес к живому: живое слово, живой символ, живое понятие, живое знание, живой смысл, живая мысль, живая доминанта, живое произведение искусства, живой образ, живая личность, живая душа были предметом пристального внимания и исследования философов, ученых и художников. В этом же ряду следует рассматривать замечательные исследования Бернштейна. К середине XX века пиетет к живому заметно снизился, чему способствовали, как это ни странно, реальные успехи в познании живого, например, вещества, интеллекта, сопровождающиеся иллюзиями, что его тайны вот-вот будут полностью раскрыты. Но живое по-прежнему упорно сопротивляется любым своим концептуализациям и представляет собой вызов науке. Целое, как в свое время предупреждал Гёте, не делится на части без остатка.

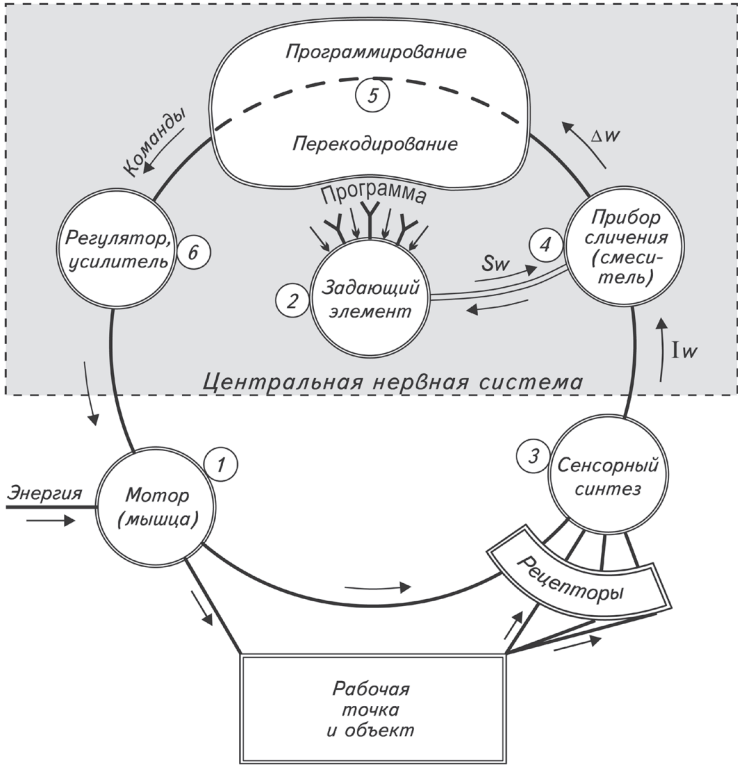


Рис. 2. Модель Бернштейна



Живое движение — не реакция, а акция; каждое движение уникально, как отпечаток пальца; оно не повторяется, а порождается и строится, поэтому упражнение есть повторение без повторения. Ударное движение молотобойца — монолит, но такие движения, наложенные одно на другое, похожи на паутину на ветру. В течение нескольких десятилетий Бернштейн, изучая трудовые, спортивные движения, движения скрипача, пианиста и т. д., проникал во внутреннюю структуру (форму) живого движения и действия. Для построения движения мало знать, как оно выглядит снаружи, нужно увидеть (почувствовать) его изнутри. Это похоже на артикуляционное чувство, описанное Гумбольдом. Как Шпет увидел изнутри слово, так Бернштейн увидел изнутри движение и действие. На рис. 2 показаны его представления о структуре действия. Хотя Бернштейн не использовал понятия внешней и внутренней формы, но по сути его модель является первой попыткой проникновения во внутреннюю форму живого движения. В ней имеется место для образа результата, для слова и символа, выступающих в роли средств высшего уровня символических координаций действия. Последняя модель действия Бернштейна лежит в основе практически всех современных моделей действия (performance).

Исследования развития движений были продолжены моим учителем А. В. Запорожцем (1905—1981). Он ввел понятие «внутренней картины» произвольного движения и действия, и показал, что в эту внутреннюю картину (форму) входят образ ситуации и образ требуемых действий. Здесь уместно вспомнить и давние исследования конструктивных действий дошкольников, выполненных А. Р. Лурия, в которых была показана роль регулирующего их протекание слова. На рис. 3 представлена функциональная модель предметного действия, предложенная Н. Д. Гордеевой и В. П. Зинченко, которая является обобщением результатов исследований Бернштейна, Запорожца и авторов модели. Как видно из рисунка, структура предметного действия настолько наполнена различными когнитивными и эмоционально-оценочными компонентами (внутренними формами), что по сравнению с ними внешний, собственно исполнительный, результирующий компонент действия кажется исчезающе малым. Но это только кажется! Внешняя форма действия тоже сложна и, по мысли Бернштейна, требует для анализа и описания не метрических, а топологических категорий. Но как бы ни была сложна внешняя форма действия с его многими поверхностями и складками, оно не может образовать внутреннее посредством удвоения и интериоризации внешнего. Внутренние формы должны быть порождены и в определенной степени автономизированы от внешнего. Только в этом случае они смогут приобрести силы для порождения нового, собственного внешнего. Как сказал поэт: *Душу от внешних условий освободить я умею...*

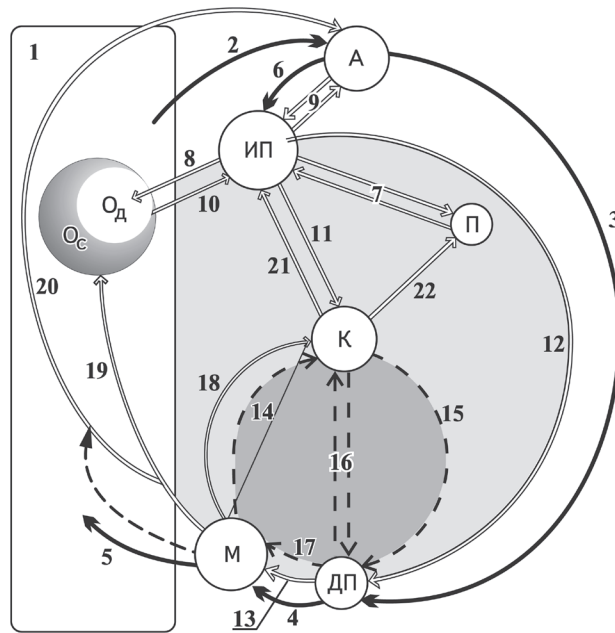


Рис. 3. Функциональная модель предметного действия  
(Н.Гордеева & В.Зинченко, 2008)

### Обозначения

- |   |   |
|---|---|
| А- афферентатор полимодальный;                          | 9- информация релевантная<br>двигательной задаче;   |
| П- схемы памяти;  | 10- формирование программы,<br>плана действия;  |
| Од- образ действия;                                     | 11- схема действия;   |
| Ос- образ ситуации;                                     | 12- детализация программ действия;  |
| ИП- интегральная программа,<br>план действия;           | 13- моторные команды;   |
| М- моторный компонент;                                  | 14- текущая информация от движения;   |
| ДП- дифференциальная<br>программа;                      | 15- текущий коррекционный сигнал;   |
| К- контроль и коррекция;                                | 16- упреждающая обратная связь;   |
| 1- предметная ситуация (двигательная<br>задача, мотив); | 17- коррекционные моторные команды;   |
| 2- установочный сигнал;                                 | 18- конечная информация от движения;  |
| 3- текущие и экстренные сигналы;                        | 19- изменение предметной ситуации<br>(информация для образа ситуации<br>и образа действия); |
| 4- текущие и экстренные команды;                        | 20- изменение предметной ситуации<br>(информация для полимодального<br>афферентатора);      |
| 5- изменение предметной ситуации;                       | 21- конечный результат;   |
| 6- информация из окружающей среды;                      | 22- информация в схемы памяти.  |
| 7- информация из схем памяти;                           |   |
| 8- актуализация образа;                                 |   |

Представления Н. А. Бернштейна, А. В. Запорожца, Н. Д. Гордеевой о внутренних формах действия соответствуют идеям Г. Г. Шпета о внутренней форме слова, лежащей в основе сценического действия актера. Только в этом случае (и еще в случае поэтического творчества) Шпет включает в состав внутренних форм слова создаваемые актером и поэтом образы. В случае актера он называет такие формы моторно-симпатическими, непосредственно связывая образ с действием и словом. Я был поражен, встретив у Шпета понятие живого движения и требования к его изучению. Возникло даже впечатление, что эти слова были написаны Бернштейном или Запорожцем. Последний до своего прихода в психологию был актером в театре знаменитого украинского режиссера Леся Курбаса, учившего актеров *претворению*, преобразению своих движений в сценический образ.

Несколько слов о языке образов. А. В. Запорожец, его ученики и сотрудники (в их числе и я) много лет изучали формирование зрительного образа, и пришли к заключению, что в его внутреннюю форму входят перцептивные движения и действия, которые привели к его формированию. Входит и слово, посредством которого возможны осмысление и актуализация образа. Другими словами, в нее входит не только «предметный остов», но и действия по его построению. Может быть Запорожец во время своей актерской работы тоже *увидел* образ (и аффект) изнутри, что и повлекло его в психологию?

Разумеется, не только во внутреннюю форму слова входят значения и смыслы. Предметные, перцептивные и операциональные (моторные) значения и смыслы входят во внутренние формы образа и действия. В них присутствуют и динамические, хотя и имплицитные, но логические формы. Таким образом, мы приходим к тому, что исследования Г. Г. Шпета, Н. А. Бернштейна и А. В. Запорожца позволяют говорить об общности строения слова, образа и действия. Все они имеют свои внешние и внутренние формы. Это не простая аналогия, а сущностное сходство, так как каждое из этих образований (орудий, инструментов, артефактов, функциональных органов, языков и т. п.) выступающее в роли средства поведения, деятельности, коммуникации, интеллекта, имеет в своей внутренней форме два других. Действие содержит в себе слово и образ; слово — действие и образ; образ — действие и слово (см. рис. 4). Они обогащают, взаимопроникают и в известных пределах взаимозаменяют друг друга. Они входят в состав других внутренних форм не в первозданном, а в сокращенном, превращенном, возможно, и в извращенном виде. Следовательно, слово, образ, действие не независимы друг от друга. Разумеется, в пространстве языков, которыми овладевает человек, слово играет особую роль. «Оно допускает наиболее полный перевод с любой другой системы языков. Но не обратно: нет такой другой системы языков, на которую можно было бы перевести слово хотя бы с относительной адекватностью... слово именно эмпири-

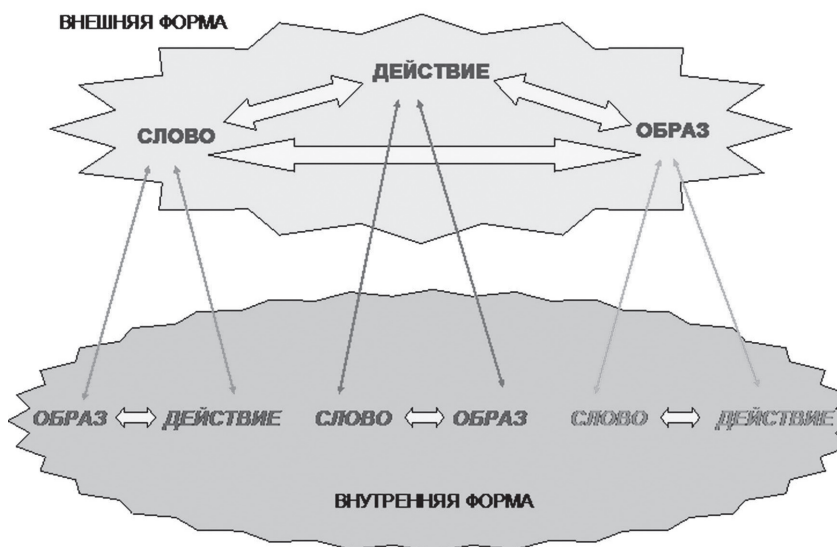


Рис. 4. Взаимодействие внешних и внутренних форм

чески наиболее совершенное осуществление идеи всеобщего знака» [Шпет 2007: 165]. Если слово, действие, образ, аффект и необратимы, (в смысле взаимного «буквального» перевода), то, как минимум, они побратимы, то есть изначально родственны, они больше, чем знакомы, и не только узнают друг друга, но общаются, взаимно опосредуют друг друга, обмениваются новостями и посылно участвуют в построении Образа мира и человека в нем, т. е. в познании, самопознании, деятельности, творчестве. Поэтому, если уж говорить, подобно Н. Хомскому, о врожденности грамматических структур, то нужно быть последовательным и признать врожденность структур действия и образа, что столь же сомнительно. Каждая из структур может быть ядром и оболочкой, оболочкой и выжимкой (ср. О. Мандельштам: «зрительные формы прорезаются, как зубы»).

Отвечают ли приведенные размышления о взаимодействии внешних и внутренних форм слова, действия и образа воззрениям Шпета? Ответу его словами: «Чувственность и рассудок, как равным образом, случайность и необходимость, — не противоречие, а корреляты. Не то же ли в искусстве, в частности, в поэзии: воображение и разум, индивидуальное и общее, “образ” и смысл, — не противоречие, а корреляты. Внешняя и внутренняя формы не противоречие и взаимно не требуют преодоления и устранения. Они разделены лишь в абстракции и не заключительный синтез нужен, нужно изначальное признание единства структуры» [Шпет 2007: 369—370]. Едва ли сегодня нужно специально

аргументировать, что сказанное Шпетом относится к единствам структур чувственности и движения, образа и действия, аффекта и интеллекта, в которые входит и слово. Слово, образ и действие, взятые во всем богатстве внешних и внутренних форм, на самом деле представляют собой сложнейшие кентаврические образования, своего рода метаформы — сгустки энергии и силы:

Солнце останавливают словом.  
Словом разрушают города.

Н. Гумилев

Приведенные рассуждения отвечают пониманию Шпетом общих свойств структуры как таковой. Она не морфологическое, а функциональное образование. Если воспользоваться термином А. А. Ухтомского, то структуры слова, образа, действия нужно рассматривать как функциональные органы индивида, как временное сочетание сил, способное осуществить определенное достижение. Функциональные органы после их образования существуют виртуально и наблюдаемы лишь в исполнении, в работе. Шпет как бы поясняет эти положения Ухтомского. Под структурой, например, слова Шпет понимает не «плоскостное» его расположение, а напротив, органическое, вглубь: «от чувственно воспринимаемого до формально-идеального (эйдетического) предмета» [Шпет 2007: 208].

Вполне резонно поставить вопрос, зачем такая сложность и какое отношение она имеет к провозглашенному принципу познания? Шпет недвусмысленно отвечает на этот вопрос. Он оставляет, по причине вздорности, все теории происхождения мысли из чувства, признавая, что все же именно чувственно данное является *поводом* для мысли. Оно — трамплин, от которого мы вскидываемся к «чистому предмету». Но это предмет чистый от чувственного содержания, но не чистый от словесного субстрата. Причина в том, что «оттолкнувшись от трамплина, мысль должна преодолевать не только вещественное сопротивление, но и им же пользоваться, как поддерживающей ее силой. Если бы она потащила за собой весь свой вещный багаж, высоко она не взлетела бы. Но так же и в абсолютной бесформенности, то есть без целесообразного приспособления своей формы к среде, она удержаться в идеальной сфере не могла бы. Ее образ, форма, облик, идеальная плоть есть *слово*» [Шпет 2007: 221—222]. Слово, идеальные внутренние формы которого не только предметны, но и операциональны, действительны. Не слишком жалуемый Шпетом А. Бергсон говорил, что мысль может воспарить как угодно высоко, но будучи брошена на поле действия, она должна оказаться на ногах. Такую встречу идеального и реального обеспечивают предметные (образные), логические (операциональные) внутренние формы слова, в которых воплощается мысль.

Итак, мы нашли глубинное сходство слова, образа и действия. Его основой может быть пока не выявленное и неявное единство их смысла, который, согласно Шпету, укоренен в бытии. Слово, образ и действие — это не только разные проекции мира-текста, возникающие на пути к проникновению в смысл — смысл бытия. Все вместе они подобны магическому кристаллу, отражающему разные грани последнего. На общность корня «каз» для *сказа* и *показа* указывал П. А. Флоренский. А ведь *указание* — это еще и действие! К таким урокам языка полезно прислушиваться.

Л. С. Выготский тоже рассматривал слово как сложное образование. Он говорил об этом не в терминах внешней и внутренней формы, а в терминах комплексов, синкретов. Он соглашается с неким не названным автором (возможно, с А. А. Потебней), который ограничивал содержание внутренней формы слова лишь образом), что первичное слово никак нельзя принимать за простой знак понятия. «Оно, скорее, образ, скорее, картина, умственный рисунок понятия, маленькое повествование о нем. Оно — именно художественное произведение» [Выготский 1982, 2: 167]. Весьма существенно, что «первое» слово не знак, оно бескорыстно, что оно и слово, и образ, и умственный рисунок. Умберто Эко [2006], как бы следуя за Выготским, предложил изящную версию освобождения языка от утилитарных функций, благодаря чему появляется возможность создания эстетических сообщений и даже поэзии. Речь идет о языке Эдема, который невольно развили Адам и Ева. Они отпустили слова на свободу и стали произвольно оперировать ими. Интересно, что энтузиасты — подвижники, обучающие, например, обезьян языку, тратят огромные усилия, чтобы привязать слово к вещи, в то время как логика развития человеческого языка состоит в освобождении слова от вещи. В этом состоит принципиальная разница между языком человека и животных. (Другими словами, язык человека — это не только дар Божий, но и результат творчества, а язык животных — дар зоопсихологов и этологов.)

Возвращаясь к Выготскому, скажем, что тем удивительнее его взгляд на проблему соотношения мысли и слова, который он сформулировал не менее категорически, чем Шпет: «У взрослого человека слияние мышления и речи есть частичное явление, имеющее силу и значение только в приложении к области речевого мышления, в то время как другие области неречевого мышления и неинтеллектуальной речи остаются только под отдаленным, не непосредственным влиянием этого слияния и прямо не стоят с ним ни в какой причинной связи» [Выготский 1982, 2: 111]. В онтогенетическом развитии Выготский констатирует: «доинтеллектуальную стадию», также как в развитии мышления — «доречевую стадию». До известного момента и то, и другое развитие идут по разным линиям, независимо друг от друга [Там же: 105]. Обе линии пересекаются примерно в возрасте около двух лет и дают начало совершенно

новой форме поведения, столь характерной для человека. Выготский (правда, не без оговорок) соглашается с В. Штерном, что этому предшествует «величайшее открытие», совершаемое ребенком: в нем пробуждается темное сознание значения языка и воля к его завоеванию. Он открывает, что каждая вещь имеет свое имя [Там же: 103]. Наконец, Выготский заключает: чтобы «открыть» речь, надо мыслить [Там же: 105]. Видимо, мыслить бессловесно и в таком бессловесном мышлении вдруг открыть слово. В упомянутых выше записях Выготский находит выход из этой коллизии: «Первое слово есть изменение сознания задолго до изменения мышления» (см. [Завершнева 2008]). Конечно, хорошо бы еще понять, что представляет собой это «темное сознание» ребенка...

Для того, чтобы разобраться в этом заочном споре Выготского со Шпетом, обратимся, по примеру первого, к каузально-динамическому или каузально-генетическому анализу.

### 3. Гетерогенез слова, действия и образа

Возникает вопрос, достаточно ли зафиксированное нами глубинное сходство слова, образа и действия для «оправдания» категоричного утверждения Шпета, что именно слово является началом и источником познания (и даже сознания, которое он характеризовал как слово: «Игра и жизнь сознания — слово на слово, диалог»)? Как понять приведенное выше требование Шпета: *нужно изначальное признание единства структуры?* В рассматриваемом случае это — единство структур слова, образа и действия. Здесь функционального и структурного сходства уже недостаточно. Для того, чтобы понять, что означает изначальное единство структур, нужно прибегнуть к анализу их генезиса. Хотя сам Шпет неоднократно выражал скептическое отношение к доказательствам, основанным на данных о происхождении, генезисе чего либо, мы все же попытаемся поискать таковые.

Выскажу не менее категорическое суждение. У человека нет «чистых» невербальных или довербальных языков коммуникации и интеллекта, как нет и чисто вербальных форм этих актов (оставим в стороне патологические и идеологические формы резонанса). Человек при всем желании не может вернуться в свое довербальное состояние, «в докультурное сырое бытие». И дело не в том, что его период необычайно краток и не в слабости нашей памяти, а в том, что есть основания усомниться в существовании ли такой докультурный период вообще.

Гумбольдт возражал против того, чтобы помещать человечество в какое-то воображаемое природное состояние. И, как бы далеко мы не шли в глубь истории, мы нигде не найдем человека без культуры, сознания и языка. А если найдем, то это будет не человек. Не то же ли самое происходит с оценками инди-

видуального развития человека? Ведь даже культурно-историческая психология в лице Выготского как бы продлевала существование натуральных (непосредственных) психологических функций ребенка на 1,5—2 года, что в масштабах человеческой истории равно многим и многим тысячелетиям. Это не упрек Выготскому. Аргументировано преодолеть вековые споры нативистов и эмпириков ещё никому не удалось, хотя аргументы накапливаются. Ученик Выготского — Запорожец в 1966 году на основании исследований развития восприятия утверждал, что между низшими и высшими функциями имеется много общего: «Закономерности “интериоризации” или “вращивания”, которые Выготский считал специфическими лишь для высших, опосредованных психических процессов, своеобразно проявляются при формировании непосредственных перцептивных процессов. Это, повидимому, свидетельствует об универсальном психологическом значении данной закономерности» [Запорожец 1986: 107—108]. Общие положения Выготского, замечает Запорожец, «имеют более широкое значение и могут быть применены к низшим... процессам» [Там же: 111]. Аналогичным образом, Г. К. Середа отмечал, что в системе Выготского имеется достаточно предпосылок, чтобы человеческая произвольная память (в отличие от произвольной памяти, которая может быть у животных) могла рассматриваться, как высшая психическая функция, и в качестве достаточного основания этого принимается ее опосредованность речью [Середа 1979: 6]; см. также: [Иванова, Мажирина 2008]). Однако, споры не утихают и прежде всего по отношению к такой «психической функции», какой является сама человеческая речь и ее развитие в раннем возрасте (см., например, обзор в книге «Развитие ребенка» [М. и Ш. Коул 1989]). Выскажу свой (не по возрасту) романтический взгляд на эту проблему.

Слово сопутствует человеку с момента рождения и до того, как проявиться во всей пышной красе (или уродстве) своих внешних форм, оно проникает, если угодно, интериоризируется или интроецируется во внутренние формы движений, действий, образов, аффектов ребенка. Для такого слова имеются названия: «живой зародыш нескончаемых формаций» (Гумбольдт), «эмбрион словесности» (Шпет), «невербальное внутреннее слово» (Мамардашвили). О «семенном логосе» говорили античные философы. «Эмбрион словесности», «семенной логос» — это точные наименования для энергичной, активной, ищущей, порождающей внутренней формы слова, которая не нашла еще (или потеряла) выражения в имманентной ей внешней форме и остающейся до поры до времени скрытой под поверхностью других языков: моторных, перцептивных, знаково-символических и т. д. Если угодно, скрытой под покровом детского «комплекса оживления», плача, гуления, лепета, а потом — взрослого молчанья или «мычанья». О младенце замечательно сказано О. Мандельштамом: *Он опыт из лепета лепит / И лепет из опыта пьет.*



Проникновение слова в душу младенца — это таинство, как, впрочем, и сама душа. М. М. Бахтин говорил, что душа — это дар моего духа другому человеку. Мать дарит душу своему чаду от избытка любви, великодушия; дарит вместе со словом и посредством заботы и слова. Дар любви замечателен тем, что он не скудеет от дарения, а прирастает у дарителя. Дар питается радостным и благосклонным откликом принимающего, у которого полученный дар также не остается неизменным: он растет, чтобы, в свою очередь, быть возвращенным дарителю или подаренным другому. М. И. Лисина характеризовала младенчество как золотой век общения — общения бескорыстного, бесцельного, непреходящая ценность которого заключена в нем самом. Это дознаковая и вместе с тем реально-символическая деятельность, полная осязаемого смысла. Ее смысл впоследствии трансформируется в значащее ощущение, а затем в чувство, слово, в знание. А. В. Запорожец, как бы подчеркивая реальность, вещественность великодушного дара матери, ее любви и заботы, говорил о «пилюлях любви», в которых особенно остро нуждается младенец и от которых не отказывается взрослый.

Каждый, обратившись к своей душе, обнаруживает в ней множество даров, в том числе и принесенных данайцами. Что делать, как говорил И. Бродский, дары бывают и горестными:

...любви и злости торопливой  
непоправимые дары.

Слово является важнейшим из даров. И. Бродский, стараясь выговорить наиболее на земле, это подтверждает:

...ибо душа, что набрала много,  
речь не взяла, чтоб не гневить Бога.

Принятие ребенком проникающего в его душу слова происходит на уровне чувственного постижения, проникновения, а не понимания. К. Юнг назвал бы проникающее в душу слово автономным комплексом души, который по мере своего созревания и развития «освобождает душу из тесноты» (В. Б. Шкловский), приобретает над его носителем тираническую силу и стремится наружу.

В отличие от того, как предмет в темноте одевается светом молнии, слово начинает освещать образ предмета изнутри, и лишь много позже, будучи произнесенным, — снаружи. Прислушаемся к размышлениям О. Мандельштама: «Словесное представление — сложный комплекс явлений, связь, “система”. Значимость слова можно рассматривать, как свечу, горящую в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та же самая свеча в том же самом фонаре»

[Мандельштам 1987: 66], то есть, слово и внутри, и вовне. Опрометчиво рассматривать его только как внешний по отношению к индивиду сигнал или даже как сигнал сигналов. Из студенческих лет помню, когда мы спрашивали А. Р. Лурия, что такое вторая сигнальная система, он отвечал, что это «бывшая речь».

Пора, наконец, поверить М. Волошину, говорившему, что *Ребенок — непризнанный гений среди буднично серых людей*, которым, видимо, морально тяжело признать детскую гениальность. Она проявляется прежде всего в неправдоподобно быстром, можно сказать, — стремительном овладении главным достижением народного духа — словом. Реконструируем основные вехи этого пути. Именно вехи, а не этапы, так как многие события в человеческой жизни происходят параллельно.

Улыбка, гуленье, лепет, плач, движение ручонки к предмету, позже — эгоцентрическая речь — выражают состояния ребенка, которые улавливаются чутким взрослым. Первые, так называемые, невербальные средства коммуникации далеко не всегда преследуют утилитарные цели; они бывают вполне бескорыстными, похожими на описание В. В. Розанова: «Жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей вздохи, полу-мысли, полу-чувства... которые, будучи звуковыми обрывками имеют ту значительность, что “сошли” прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения, — без всего постороннего... Просто, — “душа живет”..., то есть жила,дохнула... С давнего времени мне эти “нечаянные восклицания” почему-то нравились» («Смертное»).

Известно, что ухо младенца с первых недель жизни выделяет фонемы родного языка и становится «глухим» к фонемам других языков. Такое преодоление избыточности свидетельствует о том, что атмосфера языка, в которой оказался ребенок, для него не безразлична; она является важнейшим условием его существования и развития. При восприятии (ощущении —?) речи новорожденный активен. На третьей-четвертой неделе жизни наблюдается слуховое сосредоточение или ориентировка на голос взрослого: ребенок замолкает, становится неподвижным. Тогда же появляется и первая, *человеческая улыбка*. Многие авторы датируют ее появление 21-м днем жизни. К. Н. Поливанова следующим образом описывает ее появление: «Мать, чрезвычайно чувствительная к состоянию младенца, всякий раз, наклоняясь к ребенку, ловит выражение его лица и улыбается, в какой-то момент ее улыбка и улыбка младенца совпадают, и происходит своеобразная амплификация мимики двух людей. Фактически мы имеем пример удвоения улыбки матери улыбкой ребенка, своеобразное воссоединение ситуации общения, доверия, приятия (не важно, в какой терминологии этот акт будет описан)» [Поливанова 2004: 112]. Автор возражает против трактовки улыбки как знака, так как не видит здесь коммуникации в привычном значении этого термина. Поливанова предпочитает рассматривать эту ситуацию как со-

здание психологического пространства, впервые возникающего как общее и внезапное (или дознаковое): «Улыбка не может быть понята как знак, поскольку сама становится смыслообразующей наряду с другими элементами ситуации взаимности... Применительно к этой ситуации трудно говорить об интериоризации, об опосредствовании (орудием или знаком), можно — об обнаружении собственной эмоции. Ребенок, улыбаясь матери, открывает для себя собственное состояние. Мы здесь имеем дело с особым синкретом, в котором субъективно слиты внешняя ситуация общности и особое переживание этой общности» [Там же]. Согласившись с этим описанием и его интерпретацией, предположим, что в таком одушевленном, живом пространстве начинается идентификация младенца и рождается партнер полноценного общения.

Таким образом, очень рано воспринимаемая младенцем улыбка и сопровождающие ее слова матери (вкуче с собственным эмоциональным состоянием) из «звука пустого» становятся «ощущаемым смыслом», а затем превращаются в «значащее ощущение» и вызывают у младенца комплекс оживления. Младенец ждет слова и уже в двухмесячном возрасте фиксирует свой взгляд преимущественно на глазах и губах взрослого (Ф. Салапатека). Ждет его так же, как ждет и ищет телесного контакта с матерью. Он впитывает (практически с молоком матери) человеческое и человеческое слово, и оно становится «семенным логосом», который практически сразу начинает прорастать. У младенцев от 3 месяцев до года в контексте игрового поведения с матерью наблюдалась «игровая улыбка» (с открыванием рта). Д. Мессингер и др. [Messinger et al. 1997] трактовали ее как выражение удовольствия или стремления пососать материнскую руку или грудь. С. Тревартен [Trevarthen 1975] снимал на кинолентку поведение пяти младенцев от одной недели до пяти месяцев жизни в двух ситуациях: в присутствии матери и игрушки. Обнаружилось, что с первых недель жизни мать вызывает у ребенка поведение отличное от поведения, вызываемого игрушкой; он проявляет два разных «интереса», два вида спонтанной активности по отношению к игрушке и матери. Наибольшие отличия оказались в выражении лица, в вокализациях и положениях рук ребенка в этих двух ситуациях. А именно, у ребенка была выявлена другая динамика положения рук, пальцев рук, а также губ, положения языка при восприятии речи матери (слушает и вокализует), чем в ответ на предмет. Если угодно, ребенок как бы причащается или вкушает материнское слово.

В качестве отклика на материнскую любовь, заботу и слово можно рассматривать гуление младенца, наблюдаемое между 10-й и 12-й неделями жизни. В возрасте примерно 4 месяцев младенец переходит к лепету, хотя до 9 месяцев его лепет слабо связан с языком его взрослого окружения. Затем из его лепета исчезают звуки, чуждые языку окружающих. Начинаются попытки воспроизведения воспринимаемых им звуков родной речи.

Постепенно эмоциональные отклики трансформируются в требования ребенка, стремящегося воспроизводить состояния удовольствия и комфорта. Интересна в этом смысле эволюция его плача, наблюдавшаяся Е. В. Чудиновой [1986]. От полутора до трех месяцев плач спонтанен и разнообразен. Начиная с трех месяцев, мать выделяет несколько видов (от трех до девяти) плача, который можно считать «договорным». Слыша плач ребенка и подходя к нему, она уже знает, чего ему не достает. В общем психологическом пространстве взрослого и ребенка порождаются знаки, которые Поливанова назвала элементами целостной ситуации «разговора». Ребенок всеми доступными ему средствами требует «продления мгновенья, минуты, дня» (см. Эпиграф).

В качестве таких элементов выступают: движение и жест ребенка, направленные другим людям. Между 7-м и 12-м месяцами такие жесты встречаются в четыре раза чаще, чем в первом полугодии и превосходят на одну треть число жестов, наблюдающихся у детей на втором году жизни. А. Валлон назвал этот период периодом «невоздержанной общительности» (см. [Эльконин 1960: 75]).

Здесь мы вступили на более знакомую почву. В совместной (Эльконин иногда говорил — в совокупной деятельности) взрослого и ребенка последний порождает разнообразные знаки, понятные взрослому, что известно, по крайней мере, со слов бл. Августина (см. «Исповедь»). Причем это возникает позже, чем бескорыстная ситуация общения, и возникает уже в построенном психологическом пространстве общения, похожем на буберовское пространство Между Я—Ты. Мы с Д. Б. Элькониным, обсуждая первые знаковые формы активности, и в шутку и всерьез, относили их не столько к коммуникации, сколько к управлению окружающими младенца взрослыми. (У некоторых и с возрастом такая «форма деятельности» остается единственной!) Плач, гуление, лепет, улыбка или знаковое, складывающееся до исполнительного действия движение, например, ручки младенца к предмету, адресованы говорящему. Не уверен, так ли уж прав был Выготский, утверждавший, что младенец, впервые породивший знак, узнает об этом последним. Журден тоже не сразу узнал, что он говорит прозой, но ведь говорит же. Это особое знание, имеющее свое название: знание до знания, являющееся необходимым условием приобретения институционализованного знания и непременным компонентом живого знания, если, конечно, последнее сохраняется после школьного и вузовского обучения.

Следует обратить внимание на термин «порождение» (знака). Это не отрицание интериоризации. Для того, чтобы нечторосло, его вначале нужно вырастить. Вращивание и выращивание идут рука об руку, что и наблюдается уже на первом году жизни. Это положение адепты интериоризации, обычно недооценивают, ставя акцент на вращивании. Порождение знака эквивалентно порождению культуры, которая все превращает в знак, в текст. Ребенок является не просто потребителем культуры, а соучастником ее создания. Такое соуча-

ствие облегчает понимание речи взрослых, которое интенсивно развивается во второго полугодия. Примечательны данные Г. Л. Розенгард-Пупко, специально изучавшей условия максимально содействующие пониманию речи. Оказалось, что в ситуации удовлетворения потребности у ребенка и ухода за ним можно добиться понимания слов, относящихся к действиям с предметами, но невозможно организовать понимание названия предметов. Ситуацией, наиболее способствующей пониманию названий, является зрительное восприятие и рассмотрение этих предметов (см. [Эльконин 1960: 89—90]). Если воспользоваться терминологией Шпета, то можно сказать, что и в той, и в другой ситуации *узрение* дополняется *уразумением*.

Очевидна активность и самодеятельность ребенка в произнесении первых слов, которое начинается с конца первого года жизни. Это больше, чем память, это порождение. Если это и воспроизведение, на чем настаивал Гумбольдт, то акцент должен быть поставлен на *произведении*. М. К. Мамардашвили говорил об этом как о *вос-произведении*. *Семенной логос* делает свою работу, итогом которой станет язык как *культурное растение*. И здесь взрослый должен правильно оценивать степень своего участия в такой работе. 30 лет тому назад мы с М. К. Мамардашвили, анализируя работу индивида по построению движения и действия, писали: «Высаживая семя в почву, мы ведь не пытаемся заменить собой, своими рассуждениями ее волшебную органическую химию, то есть представить продукт живой, *hic et nunc*, организации работы звеном аналитической последовательности вывода. Вряд ли какой-либо биолог сочтет такую работу эпифеноменом!» [Зинченко, Мамардашвили 1977: 114]. Движение, образ, язык равно как и психика в целом, не говоря уже о личности, самостроятся, саморазвиваются. Конечно, это происходит в социальной ситуации развития и благодаря ей, а нередко — вопреки. Но какой бы она не была, она должна быть.

Так или иначе, но по словам Гумбольдта, человек внутренне срастается с языком. Поэтому, например, «поэзия и философия затрагивают самые глубины души человека» [Гумбольдт 1984: 106]. Такое срастание обеспечивает удивительно точную координацию слова и движения (мимики, жеста). В обыденной жизни для ее достижения не нужен режиссер или дирижер. Слово не разъединяет природу и человека, а напротив, единит их: «Обозначение отдельных предметов внутреннего и внешнего мира глубже проникает в чувственное восприятие, фантазию, эмоции и, благодаря взаимодействию всех их, в народный характер вообще, потому что здесь природа поистине единится с человеком, вещественность, отчасти действительно материальная, — с формирующим духом» [Там же: 104].

На мой взгляд, изложенного выше достаточно для заключения, что у человека с самого раннего детства все языки становятся вербальными, поскольку

их оплодотворяет проникающее в их внутреннюю форму слово. Внутри них оно созревает и растет. Косвенным подтверждением этого является хорошо известный взрывной характер начала детского говорения (М. Монтессори называла это эксплозией детского языка), когда ребенок захлебывается в словах и фрустрирует по поводу непонимающего взрослого. Потребность ребенка в языке становится одной из самых сильных. В. Гумбольдт характеризовал ее как душевное требование облечь и вынести в звук все, что только воспринимается и ощущается. Значит, уже в самом раннем детстве происходят два стремительно идущих и противоположно направленных процесса — окультуривание натуральных (в терминологии Л. С. Выготского) функций и натурализация культурных. (Ср.: Иосиф Бродский — *Скорость внутреннего прогресса быстрое, чем скорость мира.*) Поэтому-то мы говорим о культуре как о второй, а по сути — надо бы говорить о первой природе человека. Б. Паскаль оптимистически говорил, что «Все можно сделать естественным». Собственно, нечто подобное происходит в развитии. Культура оестествляется, перестает быть искусственной. Иное дело, что, забирая у природы порождающие силы, она становится способной производить, порождать артефакты и артеакты, в том числе искусство. При всем желании культура не может исчерпать природные силы. Поэтому О. Мандельштам имел основание сказать, что «Культура всегда больше себя самой на докультурное сырое бытие». Хотя оно нас питает, но вернуться в него нам не дано.

Приведенные размышления позволяют иначе взглянуть на весь ход духовного и психического развития ребенка. Слово *изначально* становится не только важнейшим жизненным фактом, но и актом — актом духовным и культурным, что ставит под сомнение наличие у ребенка не только «чистой» чувственности, но и наличие у него натуральных, низших, примитивных психических функций. (О «примитивности» А. Белый пронциательно заметил: «Современные дикари — не остатки примитивного человека, а дегенераты когда-то бывших культур»). Нельзя сказать, что Выготский, использовавший перечисленные термины для характеристики начальных стадий развития психики ребенка, этого не понимал. Приведу его слова: «Ни в одном из известных нам типов развития никогда дело не происходит так, чтобы в момент, когда складывается начальная форма, уже имела место высшая, идеальная, появляющаяся в конце развития, и чтобы она *непосредственно взаимодействовала с первыми шагами* (курсив мой. — В. З.), которые делает ребенок по пути развития этой начальной или первичной формы. В этом заключается величайшее своеобразие детского развития, в отличие от других типов развития...» [Выготский 1984, 4: 395]. Автор заключает, что среда здесь играет роль не обстановки, а источника развития. И все же Выготский откладывает *первые шаги* развития на потом, недооценивая детскую гениальность.

Как я старался показать выше, развитие ребенка начинается с «верхнего до», с образования духовного, символического слоя сознания, с «вершинной психологии», с конгенитальности младенца высшим проявлениям человеческого духа, выражающимся в материнской любви к своему чаду. Вот, что об этой любви писал И. Бродский:

Это ты, горяча,  
ошую, одесную,  
раковину ушную  
мне творила, шепча.  
Это ты, теребя  
штору, в сырую полость  
рта вложила мне голос,  
окликавший тебя.

Итак, любовь и слово. Пьер Абеляр (1079—1142) в «Возражении некому невежде» писал: «На эти две добродетели ясно указывало явление высочайшего духа, открывшееся в огненных языках, чтобы создать через любовь философов, а через добродетель разумных доказательств — наивысших логиков. Поэтому хорошо, что дух явился в огне и в виде языков, дабы сообщить им любовь и красноречие на всякого рода языках» [Абеляр 1959: 93]. В. Л. Рабинович, комментируя Абеляра, пишет: «Это новозаветный парафраз о сошествии Святого Духа на апостолов, которое было отмечено тем, что над головою каждого появился язык. Омоним *язык (пламени)* и *язык (речь)* фундаментально значим: разноречие — разномыслие (понимающее непонимание)... Смертельный номер — понять не понимая» [Рабинович 2002: 8].

Оксюморон «непонимающее понимание» не должен смущать; он подобен таким не смущающим нас оксюморонам, как «смертная жизнь», «живая смерть». Все это — жизнь человеческая! И она, действительно, начинается (должна начинаться!) с вершинной психологии, имеющей свои глубины. В поисках истоков вершинной психологии вовсе не обязательно обращаться к инстинктам или дурно понятому бессознательному.

«Глубинная психология» со всеми ее каверзами, внешними и внутренними распрями, возникает в ходе развития много позже. Философскую и психологическую аргументацию сказанному мы находим у Шпета. Его мало заботили проблемы конечного объяснения и поиска химерической первопричины духа. Спиритуализм был ему глубоко чужд. Он, как и Гумбольдт, видел реальность духа как первично данного только в объективном, *культурно-историческом* его проявлении: «Мы не только знаем его по его проявлениям, но и на самом деле он есть не иначе, как в своих проявлениях. Ограничивая сферу духа его культурно-историческим бытием и деянием, мы не можем выходить за преде-

лы его действительного объективного, в истории данного, бытия. Дух начинает быть и есть только в выражении, он есть само выражение, — вот это внешнее, материальное выражение!» [Шпет 2007: 170]. Настоящая выписка извлечена из статьи Шпета «Литература» (1929 г.). Автор рассматривает литературу как выражение и объективацию народного духа. О. Мандельштам написал об этом же по-своему, но не менее выразительно: *Духовное доступно взорам и очертания живут*. Дух имеет и другие более интимные формы своего выражения, прежде всего, в материнской любви. В 1920 г. Г. Г. Шпет пишет своей ученице и другу Н. И. Игнатовой: «у меня есть статья (я люблю ее больше других) “Сознание и его собственник”, в ней я силюсь доказать, что Я не может определять себя без помощи другого, что в собственном существовании Я удостоверяется через другого... И тут *метафизика любви*. Эмпирически мать удостоверяет, что я родился, без нее я не был бы в этом “уверен”, она только *знает* это, как следует знает. Через любовь ко мне я удостоверюсь в своем существовании, это — второе рождение. И вот где *Ужас*: почувствовать трепет своего бытия, и быть брошену в сомнения, в неуверенность в нем, в бытии самой сущности. *Себя*. А сколько таких проходит мимо нас: ненастоящих, иллюзорных! Ужас: сознать свою иллюзорность!» [Шпет 2005: 349—350]. Такой ужас можно сравнить с состоянием, охватившим героя рассказа В. Набокова «Ужас», когда окружающий его мир утратил названия. Данте называл подобное «террором настоящего», лишённого прошлого и будущего. Ужас вызван тем, что мир, утративший названия, утратил и душу, которая находится в слове. В этом со светским философом Шпетом солидарен религиозный философ Флоренский. Последний пишет о слове как об индивидууме, субъекте, строение которого подобно строению человека: «Внешняя форма есть тот неизменный общеобязательный, твердый состав, которым держатся все слова, ее можно уподобить телу организма... Внутреннюю форму естественно сравнить с душой этого тела. Это душа слова — его внутренняя форма происходит от акта духовной жизни» [Флоренский 1973: 115]. Т. А. Флоренская, комментируя это положение, пишет: «Чувственность, рассудок и разум соединены в слове наподобие тела, души и духа» [Флоренская 1996: 58]. Так или иначе, но в идеальном случае в материнском даре слиты в одно целое любовь, душа и слово. П. А. Флоренский подчеркивает, что понятие «индивидуум» по отношению к слову «не является метафорой, и слово действительно является живым субъектом, иначе невозможно и живое понимание в диалоге» [Флоренский 1973: 62]. Едва ли только метафорически характеризовали слово поэты: «Слово — дом» (М. Цветаева); «Язык — родина и вместилище красоты и смысла...» (Б. Пастернак).

Не является метафорой и «второе рождение» в младенчестве, которое было сюжетом А. Белого («Котик Летаев»), Вяч. Иванова («Младенчество») и много



позже — предметом пристального внимания психоаналитиков: А. Фрейд, М. Кляйн, В. Биона, Д. Винникота, Э. Эриксона, Ж. Лакана и др. «Второе рождение» (столь же символическое, как и любой акт рождения) или начало идентификации, понимаемой в том смысле, в каком этот термин используется в психоанализе, видимо происходит очень рано. Идентификация предшествует и готовит стадию зеркала, начало которой Ж. Лакан датирует 6-месячным возрастом. Она предшествует или сопутствует возникновению чувства базового доверия (Э. Эриксон) и возникновению иллюзии omnipotentности— всемогущества (Д. Винникот). Последнее по сути дела является младенческим прототипом или предвестником магической стадии в развитии ребенка, начало которой Выготский датировал дошкольным возрастом. Идентификация и сопровождающие ее чувства строятся в живом пространстве Между Я—Ты (М. Бубер), и в нем же, благодаря бескорыстному общению, затем — совокупному действию младенца со взрослым, создается представление о себе. Ребенок начинает видеть себя в другом, он удваивает себя, благодаря другому, создает символическое зеркало «Я» как инструмент идентификации. И пользуется им до конца жизни.

В конце концов, не столь важно, какое из многочисленных событий жизни младенца представляет собой точку схождения природы и культуры. Существенно, что такая точка находится в том нежном возрасте, когда младенец в построенном и одушевленном пространстве любви и общения, порождая знаки, понятные взрослому, творит культуру. П. А. Флоренский называл подобное прорастанием себя в диалоге и в молчании. Последнее не следует недооценивать. О нем замечательно сказал О. Мандельштам:

И в зыбке качаюсь дремотно,  
И мудро безмолвствую я:  
Решается бесповоротно  
Грядущая вечность моя.

#### **4. Некоторые следствия гетерогенеза языков описания реальности**

Ограничимся отрывочным и эскизным описанием проникновения слова в жизнь ребенка до одного года. Дальнейшее развитие языка подробно изучено психологами и лингвистами. Приведу лишь метафору Гумбольдта, которая в одинаковой мере пригодна для описания исторического и онтогенетического развития языка: «Если можно позволить себе такое сравнение, язык возникает подобно тому, как в физической природе кристалл примыкает к кристаллу. Кристаллизация идет постепенно, но повинуюсь единому закону... Когда такая кристаллизация заканчивается, языки как бы достигают зрелости» [Гумбольдт

1984: 162]. Эта метафора интересна тем, что она дает наглядное представление о том, что в гранях слова-кристалла (независимо от того, выступает оно в своей внешней или внутренней форме) отражаются, естественно, в превращенном виде многие перцептивные и операциональные категории. Мало того, согласно Гумбольдту, «Язык не просто переносит какую-то неопределенную массу неопределенных элементов в нашу душу; он несет в себе ещё и то, что предстает нам во всей совокупности бытия как форма» [Гумбольдт 1984: 81]. Существенно также то, что эта форма не продукт абстрагирующего ума, она имеет реальное бытие.

Когда же внутреннее слово вербальное и невербальное «вынырнет» на поверхность, найдя свою внешнюю форму, чтобы воплотиться в ней, оно сократит, свернет и сохранит, но теперь в качестве своей внутренней формы те внешние формы действия, образа, в создании которых оно участвовало и в лоне которых оно само созревало и развивалось. Например, предметный остов, входящий в структуру слова, складывается благодаря ассимиляции последнего перцептивно-моторным опытом оперирования предметом. В структуре слова Шпет находил место и образу как *sui generis* внутренней поэтической форме между звукословом и логической формой. (Как самостоятельный предмет изучения он поместил образ между «вещью» и «идеей» [Шпет 2007: 264], т. е. там же, где П. А. Флоренский помещал символ). Хотя слово и придает образу и действию форму, важно, что между словом и ими нет «крепостной зависимости», на чем настаивали не только ученые — Г. Г. Шпет и Р. О. Якобсон, но и поэт — О. Э. Мандельштам. Все они как бы предвидели трудности, по сути — невозможность понимания поэзии великим мнемонистом Ш., у которого была именно такая зависимость (см. [Лурия 1968]).

Слово не только придает форму чувственности и движению; оно объективирует их, позволяет понять:

Мы только с голоса пойдем,  
Что там царапалось, боролось.

О. Мандельштам

Позволю себе привести важнейшие положения Гумбольдта [Гумбольдт 1984: 77—78], дав их в изложении Шпета: «Деятельность органов чувств должна синтетически связываться с внутренним действием духа, чтобы из этой связи выделилось представление, стало, — по отношению к субъективной способности, — объектом, и, будучи воспринято в качестве такового, вернулось в названную субъективную способность. Представление, таким образом, претворяется в объективную действительность, не лишаясь при этом своей субъективности. Для этого необходим язык, так как именно в нем

духовное стремление прорывает себе путь через губы и возвращает свой продукт к собственному уху. Без указанного, хотя бы и молчаливого, но сопровождающегося содействием языка, претворения в объективность, возвращающуюся к субъекту, было бы невозможно образование понятия, а следовательно, и никакое мышление» [Шпет 2007: 333]. Сказанное Гумбольдтом поэтически выражено Р. М. Рильке:

Слух созерцал,  
Трогая менне зримое,  
Менее явное.

Здесь «предметное зеркало» взаимодействует с «вербальным эхо», что является условием порождения нового образа, несущего смысловую нагрузку и делающего значение видимым, т. е. визуального мышления, возникающего на основе слова.

Речь идет не просто о мгновенном возвращении, но прежде всего об отодвигании во времени решающих и исполнительных актов по отношению к окружающей действительности, в том числе удовлетворения собственных органических потребностей. Происходит как бы удвоение и повторение явлений в зазоре длящегося опыта, позволяющем сознательным существам обучаться, самообучаться и эволюционировать. В таком удвоении опыта состоит кардинальное отличие психики человека от психики животных. Л. С. Выготский, предлагая формулу поведения человека, через запятую перечислял: исторический опыт, социальный опыт, удвоенный опыт [Выготский 1982, 1: 85]. Можно говорить и об умноженном опыте быстротекущей жизни. Иное дело, насколько эффективно такой опыт используется? В зазорах (паузах, активном покое) происходит напряженная работа понимания, суть которой состоит в двух противоположно направленных актах: осмысление значений и означение смыслов. Осуществление такой работы невозможно без слова, которое само по себе, как предполагал Выготский, биполярно ориентировано. Оно оседает значением в мысли и смыслом в вещи. Д. Б. Эльконин добавил к этой двойной ориентации еще одну — ориентацию на другого человека, от которого исходит санкция адекватности восприятия, действия, слова, совершаемых актором [Эльконин 1989: 516—517].

Образующиеся посредством слова в таких зазорах ментальное пространство, сознание, психические интенциональные процессы (название не имеет значения) с самого начала представляют собой не отношения к действительности, а отношения в действительности. Другими словами, субъективность сама входит в объективную реальность, является элементом ее определения, а не располагается над ней в качестве воспаренного фантома физических

событий или эпифеномена. Субъективное не менее объективно, чем, так называемое объективное, говорил А. А. Ухтомский. Соответственно, сознание с самого начала связано с телесными актами, оно бытийно, со-бытийно и вместе с тем рефлексивно и духовно. С этой точки зрения, «пропасть», обнаруженная Штерном, Выготским и др. между словами и миром, оказывается мнимой, во всяком случае ее нет изначально. Иное дело, что мы сами вольны с помощью слов образовывать между ними пропасти, громоздить барьеры, надолбы и рвы, а затем предпринимать невероятные усилия, чтобы с помощью тех же слов преодолевать созданные препятствия.

Вернемся к повторению и удвоению опыта. Слово возвращается к субъекту, напитавшись и наполнившись аффективным, предметным и операциональным содержанием, превращенным в его внутренние формы. Человек как бы перемещается в мир значений и концептов, рефлектирует по поводу верхних слоев построенного им мира, сознательно оперирует построенными им образами, знаками, словами, смыслами и т. п., хотя совершенно не подлежит сомнению, что фундаментальные перцептивно-динамические категории, вещественно-смысловые образования, ранее освоенные им, он продолжает использовать в скрытой форме. Но эта скрытость форм, полезная для него, не освобождает психологию от ее вполне сознательного учета и от поиска путей построения итого удивительного мира психической реальности, развития объективных и вместе с тем психологических методов ее исследования.

Есть «отодвигание и удвоение» другого рода, когда слово обогащается в диалоге. Гумбольдт, будто предвидя исследования М. М. Бахтина о диалогизме и полифонии сознания, писал: «Членораздельный звук льется из груди, чтобы пробудить в другой личности отзвук, который возвратился бы снова к нам и был воспринят нашим слухом. Человек тем самым делает открытие, что вокруг него есть существа одинаковых с ним внутренних потребностей, способные, стало быть, пойти навстречу разнообразным волнующим его порывам. Поистине предощущение цельности и стремление к ней возникают в нем вместе с чувством индивидуальности и усиливаются в той же степени, в какой обостряется последняя, — ведь каждая личность несет в себе всю человеческую природу, только избравшую какой-то частный путь развития... Стремление к цельности и семя негасимых порывов, заложенное в нас самим понятием человечности, не дают ослабнуть убеждению, что отдельная индивидуальность есть вообще лишь явление духовной сущности в условиях ограниченного бытия» [Гумбольдт 1984: 64].

Благодаря своей полноте и насыщенности слово содействует экстериоризации образа, действия или их вместе, а возможно, и овнешнению души. И тогда слово занимает место в их внутренней форме (В. В. Розанов сказал: «В моей походке душа»). И добавил: «к сожалению, у меня преотвратительная поход-

ка»). Возвращение, объективация реальности есть формы субъективной деятельности, создающее объект мышлению. И мышление, и объект следует понимать в самом широком смысле этих слов. Художник в своем произведении воплощает, а тем самым возвращает себе свой образ, а нам демонстрирует способ и избыток своего видения. Подобное происходит с движением, о чем давно писали выдающиеся театральные режиссеры. А. Я. Таиров, обсуждая проблему взаимоотношений актера и образа, решал ее, привлекая понятие «кинестетическое чувство»: «Актер умеет себя видеть (без зеркала), слышать (без звука). Поговорка — “не увидишь, как своих ушей” — для актера недействительна. Должен видеть свои уши, себя, улыбку, движение, все, даже с закрытыми глазами, — упражнять это — **видеть** себя в лесу, на веранде, в комнате, на горе, в море, на снежной вершине — видеть, а не представлять. **Слышать** свой голос, мелодику речи, интонации, ритм, *futre*, *gruno*, *crescendo* и т. д.» [Таиров 1970: 56]. Е. Шахматова, комментируя теорию и практику Таирова, пишет: «Сверх-актер, пытающийся осознать внешнее проявление эмоций, должен был это шестое, а по Таирову, “кинестетическое чувство” — “контрольную и диспетчерскую инстанцию”, которая управляет отбором и степенью проявления технических средств, развить в себе до автоматизма. Поразительно совпадение этого принципа таировской эстетики с мейерхольдовским “зеркаленьем”. “Это кинестетическое чувство, — цитирует автор историка Камерного театра К. Державина, — уподобляется внутреннему зеркалу, в котором актер видит форму своего движения”» [Шахматова 1997: 147]. В. Э. Мейерхольд, А. Я. Таиров, Л. С. Курбас, равно, как и Г. Г. Шпет, в своих работах о театре, раскрывали механизм построения образа и его участия во внутренней форме сценического действия, в котором, разумеется, участвовало и слово. Примечательна характеристика такого участия в пантомиме, которую дал Таиров: «Пантомима — это представление такого масштаба, такого духовного обнажения, когда **слова умирают** и взамен их рождается сценическое действие» [Таиров 1970: 91]. Слово, конечно, не умирает, оно, наряду с образом, становится внутренней формой сценического действия.

«Кинестетическое чувство» А. Я. Таирова «ощущение порождающей активности» М. М. Бахтина сродни «артикуляционному чувству» В. Гумбольдта, и все они представляют собой необходимое условие видения действия, будь оно вербальным или моторным, изнутри, о котором говорил Н. А. Бернштейн.

Не стану перегружать текст изложением психологических исследований «удвоения», «зеркаленья» (В. А. Лефевр и Б. Д. Эльконин предпочли термин «экранирование»), проводившихся А. В. Запорожцем и М. И. Лисиной, Н. Д. Гордеевой, Б. Д. Элькониным, Д. Б. Элькониным и автором этих строк. Мне важно было показать доминирующее участие слова в подобных актах.

Языки действий, образов, входя в структуру слова, становясь его внутренними формами, сохраняют свои динамические свойства и не останавливаются в своем развитии. Такая логика не нова. Б. Спиноза говорил о памяти, как об ищущем себя интеллекте. Интеллект (голодный ум) ищет или с помощью языка сам создает новый объект своих размышлений. Мы с Н. Д. Гордеевой рассматриваем живое движение как ищущий себя смысл. Видимо, и образ предмета — это ищущее себя слово. Позднее само слово начнет искать адекватные ему образы действия или художественные образы. В последнем случае, согласно А. Бергсону, требуется максимальное умственное усилие. Ученик и сотрудник Шпета — психолог и художник Н. Н. Волков специально доказывал, что во внутреннюю форму живописных произведений входит слово. Его учитель говорил: «Пластика, музыка, живопись — словесны. Такова внешность их; через словесность, присущую им, они действительны. Это — реально-художественный язык» [Шпет 2007: 197].

Язык не просто всесторонне пронизывает всю внутреннюю жизнь человека, но проникает в нее изначально, точнее, строит ее. Из психологии развития слишком хорошо известно, насколько пагубно не только на речевом, но и общем развитии ребенка сказывается пропуск соответствующего сензитивного периода и какие нужно предпринимать усилия, чтобы наверстать упущенное. Изложенное выше позволяет сделать заключение о гетерогенности слова, образа и действия, а их становление и развитие назвать гетерогенезом. Ведущую роль в нем играет слово. Хотя семенной логос — это слово до слова (и не внутренняя, не автономная, не эгоцентрическая речь), но все же слово. Семя логоса падает в плодотворную чувственную почву, возделываемую живым движением и орошаемую эмоциями. Оно в ней растет, хотя может и прозябать.

В 50-х годах прошлого века А. В. Запорожец и М. И. Лисина экспериментально показали, что живое движение обладает чувствительностью [Запорожец 1984, 2: 36—47]. Н. Д. Гордеева не только подтвердила ее наличие, но и обнаружила два вида чувствительности: к ситуации и к самой динамике движения, к возможностям его продолжения [Гордеева 1995]. Именно чувствительность движения является основанием его поразительных динамических свойств и практически неограниченных возможностей развития. Можно предположить, что живое движение щедро делится своей чувствительностью с образом и словом, которые порождаются посредством этого же движения. Поэтому, во всяком случае, по своему происхождению образ и слово являются чувствительными, чувствующими, то есть живыми. Интересные соображения относительно *чувствующего логоса* развивал испанский философ Хавьер Субири [Субири 2006: 210—211]. Чувствительность движения, образа, слова представляет собой необходимое условие создания живых произведений искусства, в которых оседают аффективно-смысловые образования человеческого сознания.

Произведения искусства, будучи общественной техникой чувств, становятся доступными человеку. Это замечательный сюжет «Психологии искусства» Л. С. Выготского.

Посредством чувственности, движений, эмоций слово впитывает в себя мир, становится плотью и вырастает в плодоносящее древо языка. Его носителя М. М. Бахтин характеризовал как «выразительное и говорящее бытие. Это бытие никогда не совпадает с самим собою и поэтому неисчерпаемо в своем смысле и значении» [Бахтин 1996: 8]. Основанием для такой оценки Бахтину служили бездонность слова (если только оно не заведомая ложь), незавершенность диалога как единственно адекватной формы словесного выражения *подлинной* человеческой жизни. При высших формах овладения словом человек может «двигаться в слове, как в пространстве» (О. Мандельштам). Добавим к этому незавершенность образа и открытость его миру, а также неукротимость живого движения и действия, будь оно социальным или предметным. Все это создает «избыток недостатка», эффекты недосказанности, порой, сверхсказанности, напряжения, пробуждающие членораздельные душевные порывы, воплощающиеся в тексты произведений, жизни, диалога...

На этом закончим по необходимости краткую аргументацию того, что слово есть главный принцип познания. Возможно, Шпет не нуждался бы в ней, но мне она была нужна для лучшего понимания его утверждения. Позицию Шпета не следует смешивать с гипотезой лингвистической относительности Б. Уорфа. Ее, скорее, нужно характеризовать как гипотезу лингвистической абсолютности. Последняя далеко выходит за пределы грамматической структуры языка, на которой сосредоточил свое внимание Уорф.

Разумеется, слово выступает и как главный принцип организации человеческой деятельности. Не только человек овладевает словом, но и слово овладевает им. В. Гумбольдт был прав, говоря, что «язык сильнее нас». Это настолько верно, что слишком часто человек вместо того, чтобы пользоваться словом, как орудием, сам становится орудием или органом языка. Хорошо, если таким органом становится поэт, а не, например, щедринский «органчик» или чеховский чиновник, не знавший, что значит встретившийся в тексте восклицательный знак. Такие люди не дали себе труд погрузиться в *мир языка*, войти в язык, как в «дом бытия» (М. Хайдеггер). К ним относятся высказывание профессора Преображенского о Шарикове: «Уметь говорить — ещё не значит быть человеком». От них, вопреки И. Бродскому, не *остается часть речи*. Еще более неприятна ситуация, о которой говорил К. Леви-Стросс. Ситуация, когда не люди мыслят мифами, а мифы мыслят сами через людей. Она становится трагичной, когда «мыслят» идеологии, являющиеся разновидностью мифов. Но это уже сюжет другой более печальной сказки, чем рассказанная выше. Наконец, в ка-

честве подарка терпеливому читателю, добравшемуся до конца этого текста, приведу замечательные строки Томаса Элиота:

Если утраченное слово утрачено,  
 Если истраченное слово истрачено,  
 Если не услышанное, несказанное  
 Слово не сказано и не услышано, все же,  
 Есть слово несказанное,  
 Есть слово без слова. Слово  
 В мире и ради мира:  
 И свет во тьме светит, и ложью  
 Встал против Слова немирный мир,  
 Чья ось вращения и основа —  
 Все то же безмолвное Слово...

(Пепельная среда. V.1930)

Развитие языка и мысли прекратится только тогда, когда умолкнет *безмолвное Слово*, а, соответственно, исчезнет *мудрое безмолвие*, и даже поэт не сумеет *домолчаться до стихов*.

## Литература

- Абеляр 1959 — П. Абеляр. История моих бедствий. М., 1959.
- Бахтин 1996 — М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 5. М.: Русские словари, 1996.
- Бахтин 2003 — М. М. Бахтин. Собр. соч. Т. 1. М.: Русские словари. 2003.
- Выготский 1982 — Л. С. Выготский. Собр. соч.: В 6 т. М.: Педагогика, 1982.
- Гордеева 1995 — Н. Д. Гордеева. Экспериментальная психология исполнительного действия. М.: Тривола, 1995.
- Гумбольдт 1984 — В. ф. Гумбольдт. Избр. тр. по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.
- Завершнева 2008 — Е. Ю. Завершнева. Записные книжки, заметки, научные дневники Л. С. Выготского (1912—1934): результаты исследования семейного архива // *Вопр. психологии*. 2008. № 2.
- Запорожец 1986 — А. В. Запорожец. Избр. психол. труды: В 2 т. М.: Педагогика, 1986.
- Зинченко, Мамардашвили 1977 — В. П. Зинченко, М. К. Мамардашвили. Проблема объективного метода в психологии // *Вопр. философии*. 1977. № 7. С. 109—125.
- Иванова, Мажирина 2008 — Е. Ф. Иванова, Е. С. Мажирина. Развитие непроизвольной памяти: повторение исследований П. И. Зинченко // *Культурно-историческая психология*. 2008. № 1.



Лурия 1968 — *А. Р. Лурия*. Маленькая книжка о большой памяти. М.: МГУ, 1968.

Мандельштам 1987 — *О. Мандельштам*. Слово и культура. М.: Сов. Писатель, 1987.

Поливанова 2004 — *К. Н. Поливанова*. Периодизация детского развития: опыт понимания // *Вопр. психологии*. 2004. № 1. С. 110—119.

Рабинович 2002 — *В. Л. Рабинович*. О смысле // *Языки культур: Взаимодействия*. М.: РИК, 2002.

Серета 1979 — *Г. К. Серета*. К проблеме соотношения основных видов памяти в концепции «деятельность—память—деятельность» // *Вестник Харьковского Университета. Психология памяти и обучения*. Харьков, 1979. Вып. 12, № 7.

Складка 2007 — *Складка* // *Постмодернизм. Новейший философский словарь*. Минск: Современный литератор, 2007.

Субири 2006 — *Х. Сублири*. Чувствующий интеллект. Ч. 1: Интеллект и реальность. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006.

Таиров 1970 — *А. Я. Таиров*. Записки режиссера статьи, беседы, письма. М.: ВТО, 1970.

Флоренская 1996 — *Т. А. Флоренская*. Слово о молчании в диалоге // *Диалог. Карнавал. Хронотоп*. 1996. № 1.

Флоренский 1973 — *П. А. Флоренский*. Строение слова // *Контекст* — 1972. М., 1973.

Шахматова 1997 — *Е. Шахматова*. Режиссерский артистизм А. Таирова и традиции восточных искусств в восточном театре // *Метаморфозы артистизма*. М.: РИК, 1997.

Шпет 2005 — *Г. Г. Шпет*. Жизнь в письмах. Эпистолярное наследие. М.: РОССПЭН, 2005.

Шпет 2007 — *Г. Г. Шпет*. Искусство как вид знания. Избр. тр. по философии культуры. М.: РОССПЭН, 2007.

Шоттер 1996 — *Дж. Шоттер*. М. М. Бахтин и Л. С. Выготский: интериоризация как «феномен границы» // *Вопр. психологии*. 1996. № 6. С. 107—117.

Чудинова 1986 — *Е. В. Чудинова*. Развитие крика младенца // *Журнал высшей нервной деятельности*. 1986. Т. XXXVI. № 3. С. 441—449.

Умберто 2006 — *Эко Умберто*. Открытое произведение. СПб.: Симпозиум, 2006.

Эльконин 1960 — *Д. Б. Эльконин*. Детская психология. М.: Учпедгиз, 1960.

Эльконин 1989 — *Д. Б. Эльконин*. Избр. психологические труды. М.: Педагогика, 1989.

М. и Ш. Коул 1989 — *Cole M., Cole S. R.* The Development of Children. New York, Oxford: Scientific American Books, 1989.

Messinger et al. 1997 — *D. S. Messinger, A. Fogel, K. L. Dickson*. A dynamic system approach to infant facial action // J. A. Russell, J. M. Fernandes-Dols (eds.). *The Psychology of Facial Expression*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. P. 205—226.

Trevarthen 1975 — *C. Trevarthen*. *Early Attempts at Speech* // R. Lewis (ed.). *Child, Alive*. London, 1975.